
Рина Манова
Найдёна
исторический роман
18+

Рина Манова

Найдёна

«Автор»
2026

Манова Р.

Найдёна / Р. Манова — «Автор», 2026

Лето 1839 года. Восемнадцатилетнюю Варвару Ордынскую, дочь разорившегося помещика, везут на смотрины к богатому и грубому Кириллу Тугарину, которому отец проиграл всё. На полпути она выпрыгивает из кареты и бежит, а на Лебяжьем мосту решает, что жить ей больше незачем. Отставной ротмистр Андрей Вельский вытаскивает её из реки и привозит в свою усадьбу. Там девушка молчит — и все решают, что она немая. Она молчит, чтобы её не узнали и не вернули. Но в доме, где её назвали Найдёной, молчать становится всё труднее.

© Манова Р., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Ордынцево 6
Глава 2. Жених 11
Глава 3. Дорога на смотрины 16
Глава 4. Лебяжий мост 20
Глава 5. Всадник 23
Конец ознакомительного фрагмента. 26

Найдёна

Глава 1. Ордынцево

В тот год липы в Ордынцеве зацвели поздно, будто и они не знали, стоит ли стараться для дома, который вот-вот уйдёт с молотка. Старый парк, разбитый ещё при прадеде, при светлейшем князе, зарос крапивой и бузиной; беседка над прудом покосилась, и на её облупленных колоннах сидели по утрам галки. Но издали, с большой дороги, усадьба всё ещё казалась такой, какой её помнили в губернии лет тридцать назад: белый дом с бельведером, флигели, оранжерея с выбитыми теперь стёклами, аллея, уходящая к реке. Издали всегда кажется лучше, чем есть на самом деле. Варвара Алексеевна Ордынская знала это лучше многих.

Ей минуло восемнадцать в апреле. Именин не праздновали: нечем было. Мать, Елизавета Андреевна, подарила ей тогда старинную брошь с гранатами — последнюю из бабушкиных вещей, что ещё не отправилась к закладчику в губернский город, — и сказала, не глядя в глаза:

— Носи. Скоро тебе понадобится выглядеть прилично.

Варя тогда не поняла, к чему это сказано. Поняла позже.

Утро, с которого начинается эта история, было тихое и душное, какие бывают в конце июня перед грозой. Варя сидела у окна в своей маленькой комнате под самой крышей — большие комнаты второго этажа давно стояли запертыми, с мебелью под холстинными чехлами, — и штопала чулок. Штопать её научила няня, покойная Аграфена, ещё лет в десять, когда в доме было двенадцать человек одной только женской прислуги и барышне никакой надобности в штопке не было. «Учись, касатка, — говорила нянька, — бог знает, что в жизни пригодится». Пригодилось.

За окном по двору бродили куры. Кучер Евсей, единственный, кроме повара, мужик, оставшийся при доме, мыл у колодца старую карету — ту самую, с гербом на дверце, в которой когда-то возили бабушку ко двору. Герб был наполовину стёрт: золотая полоса через лазоревое поле и над ней выцветшая корона. Варя смотрела, как Евсей трёт дверцу тряпкой, и думала, что карету моют неспроста. Её не мыли с Пасхи.

В дверь постучали — коротко, два раза, как стучала только Глаша.

— Барышня, — горничная просунула в щель круглое веснушчатое лицо, — вас маменька в гостиную просят. И папенька там. И… — она запнулась, — и лицо у них такое, будто кого хоронить собрались.

— Глаша! — укоризненно сказала Варя, но сердце у неё упало.

— Да я что, я ничего, — Глаша вошла, притворила дверь и зашептала: — Только вчера к папеньке опять приезжал тот, толстый, из города. Приказчик ихний. Я в буфетной была, всё слышала. Про векселя говорили. И про вас, барышня.

— Про меня?

— Про вас. Приказчик сказал: «Кирилл Матвеич ждать долее не намерены. Либо дело, либо суд». А папенька ваш ему: «Передайте, что будет дело». И голос такой, барышня… — Глаша вдруг всхлипнула. — Будто не свой.

Варя отложила чулок. Пальцы у неё стали холодными, хотя в комнате было душно.

Кирилл Матвеевич Тугарин. Это имя она слышала в доме последние два года чаще, чем молитву. Его произносили шёпотом, его произносили со злостью, его произносил отец, когда, пьяный, ходил ночами по тёмной анфиладе и бормотал что-то про пиковую даму и про то, что «не может быть, не может такого быть, чтобы трижды подряд». Тугарин был человек известный во всей губернии. Сын винного откупщика, он сам держал откупа в трёх уездах, имел полотняную фабрику, два винокуренных завода и, по слухам, больше денег, чем казна губернская. Лет пять назад он купил себе дворянство — вернее, получил его за пожертвования на богоугодные заведения и за какую-то услугу, о которой говорили неохотно, — и с тех пор стал скупать земли разорившихся помещиков. Ордынцево было следующим.

Варя видела его однажды, издали, на губернском балу три зимы назад. Её тогда впервые вывезли, и она запомнила лишь огромную фигуру у колонны, багровое лицо и то, как расступались перед ним люди — не из уважения, а как расступаются перед телегой, которая едет, не разбирая дороги.

— Иди, Глаша, — сказала она. — Скажи, что я сейчас.

Она оправила платье — серое, домашнее, в третий раз перешитое, — пригладила волосы перед тусклым зеркалом. Из зеркала на неё смотрела худенькая девушка с бледным лицом, тёмными, почти чёрными бровями и светлыми, неожиданно светлыми при тёмных бровях глазами — серыми, как вода в реке в ненастье. Мать говорила, что глаза у неё отцовские, ордынские. Отец говорил, что материны. Сама Варя не знала, чьи они, и никогда не думала, красива ли она. В Ордынцеве некому было это ей сказать.

Гостиная внизу была единственной из парадных комнат, которую ещё держали открытой — для визитов, которых почти не бывало. Здесь сохранились старые штофные обои, вытертые на углах, клавикорды, на которых Варю учила играть мать, и большой портрет прадеда в генеральском мундире. Прадед смотрел со стены сурово и чуть презрительно, будто знал, во что превратится его род.

Отец стоял у окна спиной к двери. Алексей Петрович Ордынский был ещё не стар — ему не было и пятидесяти, — но последние годы так согнули его, что он казался стариком. Он похудел, сюртук висел на нём, как на вешалке, руки дрожали по утрам. Варя любила его — той жалкой и стыдливой любовью, какой дети любят отцов, о которых в уезде говорят с усмешкой. Когда-то он был весел, щедр, пел цыганские романсы под гитару и сажал её, маленькую, на седло перед собой. Потом начались карты.

Мать сидела в кресле у остывшего камина, прямая, как свеча. Елизавета Андреевна, урождённая княжна Волконская-Задонская, из обедневшей, но гордой ветви, никогда не позволяла себе ни сгорбиться, ни заплакать при людях. Она была всё ещё хороша собой — тонкий профиль, гладко зачёсанные седеющие волосы, кружевная наколка, — но в лице её была та сухая, бесслёзная твёрдость, которой Варя боялась с детства больше, чем отцовских вспышек.

На диване, болтая ногами, сидел десятилетний Петенька, брат. Его, видно, позвали тоже — или он прибежал сам, — и мать не прогнала. Это было странно. Детей в доме при серьёзных разговорах не держали.

— Сядь, Варвара, — сказала мать.

Варя села на край стула.

Отец не обернулся. Мать сложила руки на коленях.

— Ты взрослая девушка, — начала она ровным голосом, будто читала по писаному. — Ты знаешь, в каком положении находится наше семейство. Не стану скрывать от тебя: положение это хуже, чем ты думаешь. Имение заложено в Опекунском совете, и проценты не плачены второй год. Сверх того, твой отец… — тут голос её чуть дрогнул, но сразу выпрямился, — твой отец выдал векселя на сумму, которой нам не собрать, хоть бы мы продали всё до последней ложки. Векселя эти скуплены одним человеком. Ты знаешь, каким.

— Тугариным, — выговорила Варя.

Отец у окна дёрнул плечом.

— Кириллом Матвеевичем Тугариным, — поправила мать. — Он предъявит их ко взысканию в июле. Это значит — опись. Ордынцево пойдёт с торгов. Мы окажемся на улице. Петеньку не на что будет определить ни в корпус, ни в гимназию. Отца твоего, — она сделала паузу, — могут посадить в долговую яму.

Петенька перестал болтать ногами и испуганно посмотрел на отца.

— Однако, — продолжала Елизавета Андреевна, — есть выход. Кирилл Матвеевич человек деловой, и он сделал нам предложение. Он готов уничтожить векселя, выкупить имение

из залога и положить на имя Петеньки капитал, достаточный для его воспитания. На одном условии.

Варя уже знала, на каком. Она знала это с той минуты, как Глаша сказала «и про вас». Знала, может быть, ещё с апреля, с гранатовой брошки. Но когда мать произнесла это вслух, Варе показалось, что пол под стулом поехал куда-то вбок.

— Он просит твоей руки.

Стало очень тихо. Слышно было, как за окном Евсей плещет водой на карету и как жужжит на стекле муха.

— Маменька, — сказала Варя, и собственный голос показался ей чужим, — ему… ему ведь за пятьдесят.

— Пятьдесят два, — сказала мать. — Это не возраст для мужчины.

— Говорят, он двух жён похоронил.

— Говорят многое. Люди злы и завистливы. Его жёны умерли — одна родами, другая от чахотки. На всё воля божья.

— Говорят, он их бил.

— Варвара! — мать впервые повысила голос. — Довольно. Я не стану слушать кухонные сплетни.

Варя повернулась к отцу.

— Папенька…

Он наконец обернулся. Лицо у него было серое, глаза красные — то ли от бессонницы, то ли от слёз. Он смотрел на дочь так, будто хотел что-то сказать и не мог. Губы у него задрожали.

— Варенька, — выговорил он хрипло. — Голубушка моя. Я… это я виноват. Всё я. Ты прости меня, если можешь. Но другого выхода нет. Я думал, искал… Нет его.

— Вы проиграли ему, — сказала Варя. Это не был вопрос.

Отец закрыл лицо руками.

— Трижды, — глухо сказал он сквозь пальцы. — Трижды подряд на пиковую даму. Не может быть такого, понимаешь, не может! Я двадцать лет играю, я знаю, как ложится карта. Не может…

— Алексей, — холодно сказала мать. — Не при детях.

Он замолчал и снова отвернулся к окну.

Варя сидела, глядя на свои руки. На указательном пальце был след от иголки — маленькая красная точка. Она смотрела на эту точку, будто от неё зависело всё на свете.

— А если я откажусь? — спросила она.

Мать ответила не сразу. Она поднялась, подошла к дивану и положила руку на светлую голову Петеньки.

— Тогда, — сказала она, — твой брат вырастет нищим. Твой отец умрёт в тюрьме. А я пойду в приживалки к кузине Задонской, которая будет каждый день напоминать мне, как я вышла замуж по любви. Ты этого хочешь?

— Маменька…

— Я спрашиваю: ты этого хочешь?

Петенька вдруг заплакал — тихо, по-детски, не понимая и всё понимая. Он смотрел на сестру мокрыми глазами, и Варя не выдержала этого взгляда.

— Нет, — прошептала она. — Не хочу.

— Вот и хорошо, — мать убрала руку с головы сына. — Тогда разговор окончен. Кирилл Матвеевич желает видеть тебя у себя в имении. Он даёт обед в честь своих именин в будущую субботу, и мы приглашены. Это будут смотрины. Он хочет — так он выразился — «поглядеть товар поближе», прежде чем объявлять помолвку.

Отец у окна застонал, как от зубной боли.

— Лиза, ради бога…

— Я лишь повторяю его слова, Алексей. Пусть она знает, с кем имеет дело. Это лучше, чем питать иллюзии. — Елизавета Андреевна снова повернулась к дочери, и на миг в её сухих глазах промелькнуло что-то похожее на жалость. Но лишь на миг. — Тебе пошьют новое платье. Я продала серебряный сервиз. Ты поедешь в голубом, с бабушкиной брошью. И ты будешь любезна. Ты поняла меня, Варвара? Любезна.

Варя встала. Ноги держали её плохо.

— Я поняла, маменька, — сказала она. — Позвольте мне уйти.

— Ступай.

Она вышла, не помня как, прошла через пустую залу с зачехлённой мебелью, через буфетную, где Глаша, всё слышавшая у двери, бросилась было к ней, — и, не остановившись, выбежала на заднее крыльцо, а оттуда в парк.

Парк встретил её запахом нагретой крапивы и стоячей воды. Она бежала по заросшей аллее, путаясь в подоле, и остановилась лишь у старой беседки над прудом. Там она опустилась на гнилую ступеньку и только тогда заплакала — без звука, как плакала всегда, с детства, чтобы мать не услышала и не сказала, что ордынские девицы не ревут, как кухарки.

Галки снялись с колонн и закружились над прудом. Вода была зелёная, затянутая ряской, и в ней отражалось белёсое, душное небо.

Сколько она просидела так, Варя не знала. Солнце сдвинулось, тень от беседки легла на воду. Наконец на аллее послышались шаги, и Глаша, запыхавшаяся, с её шалью в руках, опустилась рядом на ступеньку.

— Барышня, голубушка, — горничная накинула шаль ей на плечи, хотя было жарко, и обняла её, как обнимала, бывало, нянька. — Ну что вы, ну не надо… Ох, господи, господи, за что же это…

— Глаша, — сказала Варя, глядя на воду, — ты видела его? Тугарина?

Глаша помолчала.

— Видела, — неохотно сказала она. — Позапрошлый год, на ярмарке в Старосельске. Он с крыльца лавки мужика плетью стегал. За то, что тот ему дорогу не уступил.

Варя закрыла глаза.

— Какой он?

— Да что говорить, барышня…

— Скажи.

— Здоровый, — выдохнула Глаша. — Как боров, прости господи. Лицо рябое, красное, а один глаз белый, с бельмом — говорят, в драке ему выбили, когда он ещё по кабакам сидельцем был. Голос как из бочки. И руки… руки как лопаты, в перстнях. Ох, барышня, да не слушайте вы меня, дуру! Может, он и ничего, может, он вас любить будет, на руках носить…

Варя покачала головой.

— Он сказал «поглядеть товар», Глаша. Товар. Меня покупают, как лошадь на ярмарке. Как Петенькиного пони, которого продали в прошлом году за долги.

Глаша не нашлась, что ответить, и только крепче прижала её к себе.

Вечером Варя не вышла к ужину. Она сидела у окна в своей каморке и смотрела, как над парком собирается гроза. Небо на западе почернело, потом вспыхнуло; первые тяжёлые капли ударили по железу крыши. Она думала. Думала о том, что могла бы уйти в монастырь — но для этого нужен вклад, а вклада нет. Могла бы бежать — но куда? У неё не было ни денег, ни друзей, ни родни, которая приютила бы её против воли родителей. Кузина Задонская выдала бы её матери в тот же день. Могла бы пойти в гувернантки — но кто возьмёт в гувернантки девушку без рекомендаций, сбежавшую от жениха? Её вернут. По закону дочь принадлежит отцу, пока не принадлежит мужу. Её найдут и вернут — с полицией, с позором, — и тогда мать не станет больше говорить о любезности.

Гром ударил прямо над домом, так что задребезжали стёкла. Варя вздрогнула и вдруг подумала, совсем просто и ясно, как думают о погоде: «А можно ведь и умереть».

Мысль эта испугала её. Она перекрестилась, встала, зажгла свечу перед маленьким образком Богородицы, доставшимся от няни, и долго молилась — сбивчиво, своими словами, прося чуда, которого, она знала, не будет.

Но мысль не ушла. Она легла где-то на самом дне души, как камень на дне пруда, и Варя чувствовала её там всю неделю — пока портниха из Старосельска шила голубое платье, пока мать учила её, как держать веер и как отвечать на вопросы, пока отец, не глядя ей в глаза, бродил по дому и пил, пока Петенька ходил за ней по пятам, словно боялся, что сестра исчезнет.

Он будто чувствовал. Дети всегда чувствуют.

— Варя, — спросил он однажды вечером, забравшись к ней на кровать, — а если ты выйдешь за этого… за Тугарина, ты к нам приезжать будешь?

— Буду, Петенька.

— А он злой?

— Не знаю. Наверное.

— Я, когда вырасту, — сказал Петенька серьёзно, — стану гусаром и вызову его на дуэль. И убью. И ты тогда опять домой вернёшься.

Варя засмеялась сквозь слёзы и поцеловала его в макушку, пахнущую сеном и солнцем.

— Не надо никого убивать, глупый. Спи.

Он уснул у неё на руках, а она сидела в темноте и думала, что никогда, ни за что на свете не позволит, чтобы из-за неё брат стал нищим. И никогда, ни за что на свете не станет женой человека, который стегает мужиков плетью и называет её товаром.

Между этими двумя «никогда» не было никакого пути. Только тот камень на дне.

Глава 2. Жених

Он приехал сам, не дожидаясь субботы.

Это случилось в среду, около полудня. Варя была в саду — собирала с Петенькой смородину, ту, что ещё родилась на одичавших кустах у оранжереи, — когда на дороге за прудом поднялась пыль и послышался тяжёлый, неторопливый стук колёс. Петенька вскарабкался на ограду и закричал:

— Варя! Коляска! Четвернёй! Ой, какие кони — вороные, все четыре, как один!

Варя выпрямилась, держа в руке корзинку. У неё почему-то сразу ослабели колени.

Коляска была новая, лаковая, на английских рессорах, с кучером в бархатной безрукавке и с лакеем на запятках. Она прокатила по аллее, не сбавляя хода, распугала кур и остановилась у самого крыльца, так что передние кони едва не взошли на ступени. Лакей соскочил и откинул подножку. Коляска качнулась, просела на одну сторону — и из неё, кряхтя, выбрался человек.

Глаша не солгала. Скорее, она пожалела барышню.

Кирилл Матвеевич Тугарин был огромен — не высок, а именно огромен, широк, как дверной проём, с короткой бычьей шеей, на которой сидела крупная, коротко стриженная голова. Лицо у него было красное, изрытое оспой, с толстыми губами и тяжёлой, выдвинутой вперёд челюстью. Левый глаз — маленький, тёмный, быстрый — смотрел цепко и насмешливо; правый был мутно-белый, неподвижный, и от этого казалось, что Тугарин смотрит одновременно на тебя и куда-то сквозь, в стену. Одет он был богато и безвкусно: сюртук малинового сукна, жилет, расшитый золотом, на пальцах — по два перстня, на брюхе — толстая золотая цепь. Пахло от него — Варя почувствовала это даже с другого конца двора — табаком, потом и какими-то крепкими французскими духами, которые не столько перебивали, сколько подчёркивали первые два запаха.

Он постоял на крыльце, огляделся, сплюнул в сторону и громко, на весь двор, сказал своему лакею:

— Ну и сарай. Ну и развалина. Это за неё я, выходит, восемьдесят тысяч отдаю? Ладно, Фрол, запиши: крышу перекрыть, флигель снести. Оранжерею эту… — он махнул рукой в перстнях, — к чертям.

Потом заметил Варю.

Она стояла у кустов, с корзинкой, в старом ситцевом платье и соломенной шляпке, с руками, перепачканными смородиной. Бежать было поздно. Тугарин прищурил здоровый глаз, усмехнулся и неторопливо, вразвалку, пошёл к ней прямо по клумбе — по тем немногим флоксам, которые мать ещё сажала каждую весну.

Петенька соскочил с ограды и встал перед сестрой.

— Это ещё что за щенок? — удивился Тугарин.

— Я не щенок, — звонким от страха голосом сказал Петенька. — Я Пётр Алексеевич Ордынский. А вы ходите по маминым цветам.

Тугарин запрокинул голову и захохотал. Смех у него и вправду был как из бочки — гулкий, раскатистый, без всякого веселья.

— Ишь ты! Пётр Алексеевич! Ну, Пётр Алексеевич, ступай-ка ты, брат, к маменьке и скажи, что зять приехал. Будущий. А цветы — что цветы. Новые посадим. У меня садовник немец, он тут такие розаны разведёт — ахнешь.

Петенька не двинулся. Варя положила ему руку на плечо.

— Иди, Петя, — сказала она. — Скажи маменьке.

Мальчик оглянулся на неё, на Тугарина — и побежал к дому.

Они остались вдвоём у смородиновых кустов. Тугарин подошёл совсем близко, и Варя заставила себя не отступить. Она подняла голову и посмотрела ему в лицо — в здоровый глаз, потому что смотреть в белый было невыносимо.

— Так вот ты какая, — сказал он, разглядывая её откровенно, сверху вниз и снизу вверх, как разглядывают лошадь, — от шляпки до стоптанных башмаков. — Тощая. Бледная. Ну да ничего, откормим. Бабе мясо нужно, а то какая от неё радость. Шляпку-то сними.

Варя не пошевелилась.

— Сними, говорю.

Он протянул руку — тяжёлую, красную, с перстнями, — и сам сдёрнул с неё шляпку. Тёмные волосы, кое-как подколотые, рассыпались по плечам. Тугарин присвистнул.

— О! Вот это дело. Волосы — хороши. Глаза — ничего, хоть и злые. — Он взял её двумя пальцами за подбородок и повернул лицо к свету, сначала в одну сторону, потом в другую. Пальцы были влажные и горячие. — Зубы покажи.

Варя рванулась, высвобождая подбородок. Корзинка упала, смородина рассыпалась по траве красными каплями.

— Я не кобыла, сударь, — сказала она, и голос у неё звенел.

Тугарин посмотрел на неё с интересом, будто увидел что-то неожиданное — например, что кобыла вдруг заговорила по-французски.

— С норовом, — сказал он одобрительно. — Это ничего. Это даже хорошо. Норовистых я люблю — их объезжать интереснее. Покойница моя, Агафья, тоже по первости с норовом была. А через полгода по струнке ходила. И ты будешь.

Он нагнулся, поднял её шляпку, отряхнул о колено и нахлобучил ей на голову — криво, набок.

— Вот так. А зубы потом посмотрю. Успеется.

С крыльца уже спешила Елизавета Андреевна — в лучшем своём платье, которое успела надеть за эти несколько минут, с приветливой, натянутой улыбкой. За ней шёл отец, бледный, в наспех застёгнутом сюртуке.

— Кирилл Матвеевич! Какая неожиданность! Какая честь! — Мать протянула руку, и Тугарин, помедлив, приложился к ней толстыми губами. — Мы ждали вас только в субботу… Варвара, что же ты стоишь? Поклонись Кириллу Матвеевичу.

Варя присела в реверансе — машинально, как кукла на пружине.

— Да мы уж познакомились, — Тугарин подмигнул здоровым глазом. — Знатная у вас дочка, Елизавета Андреевна. С перцем. Я, признаться, думал, сонная муха какая, а она — оса! Ха! Ну, это ничего. Я был по делам в Старосельске, дай, думаю, заеду, погляжу, что покупаю. Дом погляжу, землю погляжу. И невесту. Чтобы, значит, в субботу без сюрпризов.

Отец сделал движение, будто хотел что-то сказать, но мать опередила его:

— Разумеется, разумеется. Прошу в дом, Кирилл Матвеевич. Вы с дороги, вам надо отдохнуть. Я велю подать закуску…

— Закуску — это можно, — согласился Тугарин. — Водочки бы. С дороги-то.

Они пошли к дому. Варя осталась одна среди рассыпанной смородины. Её трясло. На подбородке, там, где касались его пальцы, будто горело клеймо. Она вытерла лицо рукавом — раз, другой, третий, — пока кожа не заныла.

К обеду её позвали. Она пошла — мать прислала Глашу с приказанием переодеться и выйти, и в голосе Глаши, передающей приказание, было столько жалости, что Варя не стала спорить.

Обед был жалкий — всё, что смог наскрести повар Антип: щи, жареная курица, пирог с вареньем, наливка из погреба. Тугарин ел много, шумно и жадно, обсасывая куриные кости и вытирая пальцы о скатерть. Пил он ещё больше: графин водки, принесённый из его же коляски, опустел к пирогу. Пил и отец — сначала нехотя, потом всё охотнее, и к концу обеда лицо у

него стало мутное, растерянное. Мать почти не ела, сидела прямо и поддерживала разговор — о погоде, об урожае, о губернаторе, — с тем мужеством, которое Варя в другое время назвала бы героическим.

Тугарин говорил о себе. О своих заводах, о своих деньгах, о том, сколько стоит его новый дом в Сухом Логе — «не дом, а дворец, сударыня, у губернатора такого нет», — о том, сколько у него десятин и душ. Говорил, не стесняясь, о покойных жёнах:

— Первая, Агафья, купеческая дочь была, из Твери. Здоровая баба, а родить не смогла — померла с ребёнком вместе. Вторая — из мелкопоместных, Настасья, Анастасия Ивановна. Ту чахотка взяла. Квёлая была, всё плакала. Я ей и доктора выписывал, и на воды хотел везти — не помогло. Слабая порода. — Он посмотрел на Варю через стол. — Мне, сударыня, теперь кровь нужна. Хорошая, старая. Чтобы дети были — дворяне не по бумаге, а по крови. Чтобы, значит, через двадцать лет никакая сволочь в собрании не смела за спиной шептать, что Тугарин из кабатчиков. Вот и выходит, что ваша Варвара Алексеевна мне в самый раз. Порода есть. Прадед — генерал, бабка — фрейлина. А что тощая — откормим.

— Кирилл Матвеевич шутит, — сказала мать с каменной улыбкой.

— Какие шутки! — Тугарин налил себе ещё. — Я, Елизавета Андреевна, человек прямой. Я покупаю — я плачу. Векселя ваши у меня, — он похлопал себя по жилету, по тому месту, где, видно, лежал бумажник, — и я их в огонь брошу в тот же день, как она мне перед алтарём «да» скажет. А до той поры — пусть лежат. Тепло им тут.

Отец вдруг поднял голову.

— Кирилл Матвеевич, — сказал он неожиданно трезвым голосом. — Позвольте спросить. Та игра, у предводителя, на Масленой… Вы помните, кто банк метал?

За столом стало тихо. Тугарин медленно повернул к нему голову, и его здоровый глаз сузился.

— Я метал, — сказал он спокойно. — А что?

— Ничего. Так… Мне всё думается — три раза подряд дама пик. Двадцать лет играю, Кирилл Матвеевич, а такого не видал.

— Не видали — так увидели, — Тугарин усмехнулся и залпом выпил рюмку. — Карта, Алексей Петрович, дура. Она не знает, кто дворянин, а кто нет. Ложится, как ей бог на душу положит. А вы, если сомневаетесь, — он поставил рюмку на стол, и стекло звякнуло о блюдце, — так можете меня к барьеру позвать. Я, правда, стреляю неважно. Зато мой Фрол стреляет хорошо. И векселя мои после вашей смерти перейдут к наследникам. То есть к Елизавете Андреевне. Ей-то будет веселее?

Отец сник, опустил голову и больше не произнёс ни слова.

Варя смотрела на Тугарина через стол. Она смотрела на него и думала, что ещё никогда в жизни никого не ненавидела. Даже в детстве, даже когда мать наказывала её несправедливо. А теперь поняла, что такое ненависть: это когда хочется, чтобы человек просто перестал быть. Исчез. Чтобы его стул опустел, и тарелка опустела, и воздух в столовой стал снова чистым.

Тугарин поймал её взгляд и подмигнул.

После обеда он пожелал «осмотреть хозяйство». Отец, совсем пьяный, повёл его по дому. Варя слышала из своей комнаты, как они ходят по запертым залам, как Тугарин сдёргивает чехлы с мебели и хохочет, как стучит кулаком в стены — «гниль! всё гниль!», — как велит своему Фролу записывать. Потом они вышли в парк. Тугарин велел снести беседку над прудом — «на что эта рухлядь» — и вырубить старые липы на аллее — «тень одна, а проку никакого».

Уехал он под вечер. Перед отъездом снова потребовал невесту. Варю вывели на крыльцо, как выводят лошадь из конюшни. Тугарин стоял у коляски, раскрасневшийся от водки, и снова оглядел её с головы до ног.

— Ну, бывай, оса, — сказал он. — В субботу жду. Пришлю за вами свою карету — вашу-то, прадедовскую, на дрова пора. Нет? Своя есть? Ну, как хотите. Только не опаздывайте. Я

гостей позвал — полгубернии. Покажу им, какую невесту беру. Губернатор обещался быть! — Он повернулся к матери. — Платье-то сшили? Чтоб не хуже прочих была. Мне перед людьми стыдиться не с руки.

— Сшили, Кирилл Матвеевич.

— То-то. А после смотрин — сразу помолвку. А там через месяц и венчание. Чего тянуть? Я человек немолодой, мне ждать некогда.

Он шагнул к Варе, и она не успела отшатнуться: он поймал её руку своей лапищей и поднёс к губам. Поцелуй был мокрый, долгий, и Варе показалось, что её руку облизала собака.

— Ничего, — сказал он вполголоса, только для неё, и его здоровый глаз смотрел на неё в упор, тяжело и насмешливо. — Ничего, оса. Привыкнешь. Все привыкают. А не привыкнешь — так научу. У меня в Сухом Логе для учения всё есть.

Коляска уехала, подняв пыль. На клумбе остались вмятины от его сапог, а в доме — запах водки, табака и французских духов, который не выветривался до самой ночи.

Вечером Варя пришла к матери.

Елизавета Андреевна сидела в своей спальне у туалетного столика и снимала наколку. Лицо её в свете свечи было усталым и вдруг постаревшим. Она увидела дочь в зеркале и не обернулась.

— Маменька, — сказала Варя от двери. — Вы всё видели. Вы всё слышали. Вы правда хотите отдать меня ему?

Мать долго молчала, вынимая из волос шпильки одну за другой и складывая их в фарфоровую шкатулку.

— Я ничего не хочу, Варвара, — сказала она наконец. — Я давно перестала хотеть. В двадцать лет я хотела выйти за твоего отца. Мне говорили, что он мот и игрок, а я не верила, я любила. Твоя бабушка, моя мать, прокляла меня за этот брак. И вот теперь я сижу в доме, где всё гниль, как изволил выразиться Кирилл Матвеевич, и не могу купить сыну новых сапог. — Она положила последнюю шпильку и посмотрела на дочь в зеркало. — Любовь — это роскошь, Варвара. Для богатых. Мы не богаты. Ты выйдешь за Тугарина, и твой брат будет жить. А со временем… со временем всё сглаживается. Он немолод. Он пьёт. Через десять, через пятнадцать лет ты будешь богатой вдовой и сможешь делать что хочешь.

— Через пятнадцать лет, — повторила Варя. — Маменька, вы слышали, что он сказал про своих жён? Про «учение»?

Мать отвернулась от зеркала.

— Я слышала, что он сказал, — холодно ответила она. — Мужчины многое говорят во хмелю. Иди спать, Варвара. И помолись. Молитва помогает.

Варя постояла ещё мгновение, глядя на материнскую спину, на её прямые худые плечи, — и вдруг поняла, что мать тоже боится. Боится не меньше её самой. Просто страх у неё давно превратился в камень.

— Спокойной ночи, маменька, — сказала Варя и вышла.

В коридоре её поджидала Глаша.

— Барышня, — зашептала горничная, оглядываясь, — я вот что придумала. У меня тётка в Старосельске, просвирня при Никольской церкви. Она бы вас спрятала. А потом… потом бы что-нибудь вышло. Может, в монастырь, может, к кому в услужение…

Варя покачала головой и поцеловала её в веснушчатую щёку.

— Найдут, Глашенька. Найдут у твоей тётки на третий день. Тебя высекут и сошлют, а тётку из просвирен выгонят. И меня всё равно вернут. Нет. Не надо. Я сама.

— Что — сама, барышня? — испугалась Глаша.

— Ничего. Спать иди.

Она ушла к себе, заперлась, села у окна. Ночь была светлая, июньская, почти без темноты. Над парком висела луна, и в её свете было видно, как поблёскивает за деревьями река

— Лебедь, тихая, неширокая, но глубокая в омутах. Варя знала её с детства: летом её возили купаться к песчаной косе за мельницей, а зимой катали на санях по льду. Дорога в Сухой Лог шла вдоль реки вёрст пятнадцать, а потом переходила её по старому деревянному мосту у Белой Горки — Лебяжьему, как его называли, потому что весной под ним, на разливе, останавливались лебеди.

Варя смотрела на реку и думала о мосту.

Она ещё не решила. Нет, она ещё ничего не решила — уверяла она себя. Но камень на дне души будто шевельнулся и лёг поудобнее.

Глава 3. Дорога на смотрины

В субботу с утра было ясно и ветрено. Ночью прошёл дождь, прибил пыль, и воздух стоял промытый, прозрачный, пахнущий мокрой землёй и скошенным сеном — в лугах за рекой уже начали косить.

Варю одевали с семи часов. Голубое платье, сшитое старосельской портнихой, вышло нарядным, но не модным: рукава, по губернским понятиям, были слишком узкими, а лиф слишком простым. Мать сама поправила складки, сама приколола к вороту бабушкину гранатовую брошь, сама уложила дочери волосы — гладко, на прямой пробор, с тяжёлым узлом на затылке, как носили в Петербурге три года назад. Руки у матери были холодные и быстрые, и она ни разу не взглянула Варе в лицо.

— Вот так, — сказала она наконец, отступая на шаг. — Хорошо. Ты хорошо выглядишь, Варвара.

Это была первая похвала, которую Варя слышала от неё за много лет. Она почему-то не обрадовалась.

Под платьем, на тонкой цепочке, у неё был спрятан маленький золотой медальон — подарок отца на седьмые именины, ещё в те времена, когда в Ордынцеве давали балы и в зале горели двести свечей. На крышке медальона был выгравирован ордынский герб — такая же полоса и корона, как на карете, — а на обороте надпись: «Вареньке от папеньки. 1828». Внутри, под стеклом, лежала прядь её детских волос и крошечный, с ноготь, акварельный портрет — отец в молодости, в кавалергардском мундире, весёлый и красивый. Варя никогда не снимала медальона. Мать не знала, что она носит его и сегодня.

Глашу с ней не пустили. Накануне вечером мать застала горничную плачущей в людской и услышала, как та честит Тугарина «рябым боровом» и «живодёром». Глашу отослали на скотный двор, на целую неделю, и запретили показываться барышне на глаза. Варя видела из окна, как она уходит, оглядываясь, с узелком в руках, и не посмела даже помахать ей.

Тугарин сдержал слово: в девять часов к крыльцу подкатила его карета — огромная, зелёная, с золочёными колёсами, четвернёй, с форейтором и двумя лакеями. Кучер в шляпе с павлиньим пером сидел на козлах важно, как архиерей. Кирилл Матвеевич, видно, решил показать, что не скупится.

Елизавета Андреевна вышла на крыльцо, посмотрела на карету и поджала губы.

— Мы поедем в своей, — сказала она тугаринскому кучеру. — Передайте Кириллу Матвеевичу нашу благодарность.

— Никак невозможно, сударыня, — ответил кучер, не снимая шляпы. — Кирилл Матвеич строго наказали, чтоб господа в его карете прибыли. Чтоб, значит, перед гостями…

Мать побледнела от оскорбления, но сдержалась. Помолчала. Потом сказала, обращаясь к мужу, тем ровным голосом, каким говорила о самых неприятных вещах:

— Хорошо. Мы с тобой, Алексей, поедем в карете Кирилла Матвеевича. А Варвара поедет в нашей. Одна. — Она повернулась к дочери. — Ты понимаешь почему. Ты не должна приехать к жениху измятой и растрёпанной, а в этой… в этой колымаге нас трясёт всех вместе, как горох в решете. В нашей сиденья мягче. И Евсей правит осторожнее. А там — пусть видят, что у Ордынских своя карета. С гербом.

Варя поняла не всё, но главное поняла: мать не хотела, чтобы губерния видела, как Ордынские приезжают на смотрины в карете жениха, словно бедные родственники, которых подобрали по дороге. Хоть что-то своё. Хоть герб на дверце. Этот последний клочок гордости был так жалок и так понятен, что у Вари защипало в глазах.

— Хорошо, маменька, — сказала она.

Петенька провожал их на крыльце. Его не взяли — мать сочла, что ребёнку нечего делать на взрослом обеде. Он стоял на ступеньках в чистой рубашке, с умытым лицом, и держался изо всех сил, чтобы не заплакать. Варя присела перед ним, не боясь измять голубое платье, и крепко обняла.

— Ты слушайся тут Антипа, — шепнула она. — И не лазай на старую липу, она гнилая.

— Варя, — шёпотом ответил он ей в ухо, — а ты вернёшься?

Она не ответила. Только поцеловала его — в лоб, в глаза, в светлую макушку — и пошла к карете, не оглядываясь, потому что знала: если оглянется, то не сможет сделать того, что задумала.

А что она задумала — она теперь знала твёрдо.

Решение пришло к ней не сразу и не вдруг. Оно вызревало всю эту неделю, с той минуты, когда Тугарин дотронулся до её подбородка мокрыми пальцами. Оно вызревало, пока портниха подшивала подол, пока мать учила её улыбаться, пока отец пил по ночам в тёмной зале. Оно вызрело окончательно прошлой ночью, когда она лежала без сна и слушала, как тикают в коридоре старые часы. И теперь в ней не было ни страха, ни слёз — только странная пустая лёгкость, какая бывает, говорят, у тяжелобольных накануне смерти.

Если она приедет в Сухой Лог — её помолвят. Если её помолвят — через месяц обвенчают. После этого уже ничего нельзя будет изменить. Значит, в Сухой Лог она не приедет.

Дорога туда шла пятнадцать вёрст лесом, вдоль реки, а у Белой Горки, за деревней Лебяжье, переходила реку по старому мосту. Варя знала эту дорогу. Знала, что за третьей верстой начинается подъём на Ведьмину гору, где лошади всегда идут шагом, а Евсей слезает с козел и ведёт коренника под уздцы, потому что колея там глубокая и глинистая, а после дождя в ней легко засесть. Знала, что справа от дороги там густой ельник и глубокий овраг, заросший папоротником в человеческий рост. Знала, что тугаринская карета с родителями поедет впереди и что Евсей, старый и глуховатый, всё внимание отдаёт лошадям, а в окно кареты не смотрит никогда.

Она не думала дальше этого. Дальше было — овраг, лес, река. Дальше было — Лебяжий мост. Она не позволяла себе думать о мосте прямо, только краешком, как трогают языком больной зуб. Но мост был там, впереди, и она знала, что он её ждёт.

Карета тронулась. Тугаринская ехала впереди, грохоча и сверкая золочёными колёсами, их старая, прадедовская, — следом, скрипя на рессорах. Сиденья в ней и правда были мягкие, обитые выцветшим лазоревым шёлком, с кистями, с запахом пыли, старой кожи и лаванды, которую мать когда-то зашивала в подушки. Здесь Варю возили в детстве в гости и к обедне; здесь она засыпала на коленях у няньки, возвращаясь в зимних сумерках с ёлки у предводителя. Она погладила рукой потёртый шёлк, как гладят на прощание любимую собаку.

Мимо поплыли знакомые места. Пруд. Мельница. Деревня Ордынка — двадцать изб, оставшихся у Ордынских от прежних двухсот душ, — с покосившейся часовней и колодцем-журавлём. Бабы у колодца остановились, глядя на кареты, а одна, старая Матрёна, перекрестила барышню. Варя видела это в окно и тоже перекрестилась.

Потом начался лес.

Дорога пошла вдоль реки, то приближаясь к ней, то уходя в сторону. Сквозь стволы сосен поблёскивала вода — серая, рябая от ветра. Пахло хвоей и мокрым песком. В вершинах сосен шумело, и этот шум был похож на далёкий морской прибой — так, по крайней мере, думала Варя, никогда не видевшая моря. Она смотрела в окно и прощалась со всем, что видела: с соснами, с рекой, с белыми облаками в синем небе, с иван-чаем на обочине, с кукушкой, которая начала куковать где-то в чаще и вдруг смолкла, не досчитав и до пяти.

«Даже кукушка знает», — подумала Варя и почему-то улыбнулась.

На третьей версте дорога пошла в гору. Карета накренилась назад, лошади замедлили шаг. Впереди, за поворотом, тугаринская четвёрка уже тянула в подъём, и оттуда донёсся соч-

ный голос кучера с павлиньим пером, ругающего лошадей. Потом карета остановилась, качнулась, снова тронулась — и Варя услышала, как Евсей кряхтя слезает с козел.

— Но-о, милые, — забормотал старик. — Но, родимые… Тяни, Серко, тяни… Эх, грязища-то, господи…

Карета поползла в гору — медленно, шагом, переваливаясь на ухабах. Справа за окном потянулся ельник, тёмный и густой, а за ним — край оврага, заросший папоротником.

Варя сидела неподвижно. Сердце у неё стучало так громко, что, казалось, его слышно даже снаружи.

«Сейчас, — сказала она себе. — Сейчас или никогда».

Она сняла белые лайковые перчатки, которые мать велела не снимать до самого Сухого Лога, и аккуратно положила их на сиденье. Потом отстегнула гранатовую брошь и положила рядом с перчатками. Брошь была материна, бабушкина, ордынская. Пусть останется им. Её можно продать. За неё дадут рублей двести — Петеньке на сапоги и на книжки.

Потом она достала из ридикюля маленький карандаш и клочок бумаги — она приготовила их заранее, ещё дома, — и написала, не давая себе времени задуматься:

«Маменька, папенька, простите меня. Я не могу. Не ищите. Петеньку поцелуйте. В.»

Написала — и сразу поняла, что «не ищите» ни к чему. Искать будут. Но зачёркивать не стала. Сложила записку вдвое и подсунула под брошь.

Потом сняла с плеч тонкую кружевную накидку — она могла зацепиться за ветки — и, подумав, всё же взяла с сиденья простую серую шаль, которую Глаша сунула ей утром тайком, «на случай, если продует». Шаль она набросила на голову и плечи, прикрыв голубое платье.

Карета ползла в гору. Евсей бормотал что-то лошадям, глухой голос его доносился спереди. Впереди, за поворотом, грохотала тугаринская четвёрка, и родители, конечно, не смотрели назад: из тяжёлой кареты с задёрнутыми от пыли занавесками назад не видно вовсе.

Варя взялась за ручку правой дверцы — той, что выходила на овраг, прочь от Евсея, который шёл у левого, ближнего к обочине коренника. Ручка была тугая, ржавая, — она нажала изо всех сил, и дверца с тихим скрипом подалась.

В лицо пахнуло лесом.

Внизу медленно плыла земля — мокрая глина колеи, корни, мох, а за ними, в полутора шагах, обрыв и ковёр папоротника. Карета двигалась не быстрее, чем идёт человек, но земля плыла и плыла, и Варе вдруг стало так страшно, как не было ни разу за эту неделю. Она вцепилась в дверцу и замерла.

«А если сломаю ногу? — мелькнуло в голове. — Если закричу? Если Евсей услышит?»

И тут же — спокойно и ясно, тем новым, холодным голосом, который появился в ней прошлой ночью:

«Тогда тебя посадят обратно в карету и отвезут к Тугарину. И ты будешь жить с ним. Двадцать лет. Каждый день. Каждую ночь».

Она зажмурилась и прыгнула.

Удар о землю был сильнее, чем она думала. Её подбросило, развернуло, ударило плечом о корень, и она покатилась вниз по склону, сквозь папоротник, сквозь колючий малинник, сквозь мокрые ветки, хлеставшие по лицу. Голубое платье трещало, цепляясь за сучья. Небо и земля менялись местами, и в какой-то миг она увидела над собой высокие ели, а за ними — кусочек синего неба с облаком, похожим на лебедя. Потом что-то тупо ударило её в бок, и она остановилась.

Она лежала на дне оврага, в мокрой траве, у самого ручья. Над ней смыкался папоротник — огромные зелёные веера, сквозь которые пробивалось солнце. Было очень тихо. Где-то наверху, далеко-далеко, скрипели колёса и бормотал Евсей:

— Но-о, милые… Ещё чуток… Вот так, вот так, родимые…

Скрип и бормотание удалялись. Евсей ничего не заметил. Глухой, старый Евсей, который тридцать лет возил Ордынских и ни разу не заглянул в окно кареты, потому что господам негоже, чтобы кучер на них глядел.

Варя лежала и слушала, как затихают колёса. Потом их не стало слышно совсем. Остался только шум леса, журчание ручья и стук её собственного сердца.

Она попробовала пошевелиться. Болело плечо, болел бок, саднило лицо, исцарапанное ветками, — но руки и ноги слушались. Ничего не сломано. Она села, потом, держась за ствол молодой осинки, встала. Голубое платье было порвано в трёх местах и перепачкано глиной. Волосы, которые мать укладывала целый час, рассыпались и висели мокрыми прядями. Одна туфелька пропала где-то на склоне. Серая Глашина шаль, как ни странно, уцелела — она зацепилась за куст тут же, рядом. Варя сняла её, закуталась и вдруг засмеялась — тихо, нервно, сама не понимая чему.

Она сделала это. Она выпрыгнула из кареты на ходу, как героиня тех французских романов, которые мать запрещала ей читать и которые она всё-таки читала ночами при свечке, таская из отцовского шкафа. Она свободна.

Смех оборвался так же внезапно, как начался.

Свободна — для чего?

Через полчаса, самое большее через час карета Ордынских въедет во двор Сухого Лога. Евсей откроет дверцу — и найдёт пустое сиденье, перчатки, брошь и записку. Мать закричит — нет, мать не закричит, мать никогда не кричит, — мать побелеет и сожмёт губы. Отец схватится за голову. Тугарин… Варя представила себе Тугарина — его багровое лицо, его белый глаз, его голос, как из бочки, — и её снова затрясло. Он поднимет на ноги всех. Своих лакеев, своих конюхов, своего Фрола. Губернатор, которого он позвал на обед, пошлёт исправника. К вечеру весь уезд будет знать, что дочь Ордынских сбежала от жениха. Её будут искать с собаками, как беглую крепостную. И найдут. Обязательно найдут. Куда может уйти девушка в рваном голубом платье и одной туфельке?

И тогда — позор. Позор на всю губернию. Тугарин, может быть, всё равно женится на ней — назло, чтобы проучить, — но теперь уже не как на дворянке «с кровью», а как на беглой, на опозоренной. И «учение», о котором он говорил, начнётся в первый же день. А если не женится — то предъявит векселя. И Петенька останется нищим. Из-за неё.

Варя стояла на дне оврага, кутаясь в Глашину шаль, и смотрела на ручей. Ручей бежал между камней, торопливо и весело, туда, где за деревьями поблёскивала река.

Река. Лебедь. Лебяжий мост.

Она знала, что так и будет. Знала с самого начала. Прыжок из кареты не был спасением — он был только первым шагом. Мать скажет: «Она утонула». И это будет не позор, а горе. Горе можно пережить. Над утопленницей не смеются. Её жалеют. А Тугарин… Тугарин, может быть, пожалеет хоть немного и не станет добивать семью, у которой отнял дочь. Ведь даже он, наверное, побоится греха.

А если не побоится — что ж. Её это уже не будет касаться.

Варя перекрестилась, поправила на голове шаль и, прихрамывая — одна нога в туфельке, другая в одном шёлковом чулке, — пошла вдоль ручья вниз, к реке.

Глава 4. Лебяжий мост

Ручей вывел её к реке через полверсты. Лес расступился, и Варя оказалась на высоком песчаном берегу, поросшем редкими корявыми соснами. Внизу, под обрывом, текла Лебедь — здесь широкая, спокойная, с длинными песчаными отмелями, на которых сидели кулики. На том берегу тянулись заливные луга, и по ним, как цветные точки, двигались косари. Ветер доносил оттуда обрывки песни.

Варя села на корень сосны и уставилась на воду.

Никто её не искал — пока. Было, наверное, около полудня: солнце стояло высоко и жгло сквозь шаль. Она представляла себе, что делается сейчас в Сухом Логе, и не могла остановиться. Вот карета въезжает во двор. Вот Тугарин выходит на крыльцо — в малиновом сюртуке, с гостями за спиной. Вот лакей открывает дверцу… Вот пустое сиденье. Вот мать.

Ей стало так жалко мать, что она заплакала — впервые за весь этот день. Плакала долго, уткнувшись лицом в колени, и косари на том берегу пели, и кулики перелетали с отмели на отмель, и всему этому миру не было никакого дела до девушки в рваном голубом платье.

Потом слёзы кончились, и стало пусто.

Она встала и пошла по берегу вверх по течению — туда, где, она знала, через десять вёрст будет Белая Горка и мост. Шла медленно: босая нога — туфельку с другой ноги она тоже сбросила, потому что идти в одной было ещё неудобнее, — скоро разбилась о корни и камни. Платье цеплялось за кусты. Хотелось пить, и она спустилась к воде и пила из горсти — вода была тёплая у берега, пахла тиной и солнцем.

По дороге ей встретился только один человек — мальчик-подпасок лет восьми, который сидел на пне у края леса и плёл кнут из лыка. Коровы бродили по опушке, позвякивая колокольцами. Мальчик уставился на Варю круглыми глазами, будто увидел лешачиху.

— Ты чья? — спросил он наконец.

Варя хотела ответить — и не смогла. Губы не послушались. Она только покачала головой и прошла мимо. Мальчик долго смотрел ей вслед, а потом, видно, испугавшись, перекрестился и погнал коров в другую сторону.

«Вот и всё, — подумала Варя. — Я уже не чья. Ничья».

Она не знала тогда, что эта первая минута немоты — когда язык вдруг отказался произнести её имя — станет началом всего остального.

День тянулся бесконечно. Солнце перевалило за полдень, потом стало клониться к лесу. Варя несколько раз садилась отдыхать, засыпала на минуту и просыпалась с колотящимся сердцем, потому что ей чудился лай собак. Но собак не было. Однажды издалека, с дороги, донёсся стук копыт — много лошадей, быстро, — и чей-то крик. Она забилась под куст можжевельника и лежала там, не дыша, пока стук не затих. Это могли быть люди Тугарина. Могли быть просто проезжие. Она не знала. Но после этого пошла уже не берегом, а лесом, подальше от дороги, продираясь через подлесок.

Она думала о многом в этот долгий день.

Думала об отце — каким он был раньше, когда она была маленькой. Как он учил её ездить верхом на смирной белой кобыле Ласточке и смеялся, когда она падала. Как читал ей на ночь «Руслана и Людмилу» — по новой, только что вышедшей книжке, — и изображал голоса: Черномора, Головы, Наины. Как однажды зимой, на святках, нарядился медведем и пришёл в детскую, и она визжала от страха и восторга. Где теперь этот весёлый человек? Его съели карты, как волк съедает овцу, — сначала понемногу, потом целиком.

Думала о Петеньке. Он, наверное, уже знает. Антип, или Глаша, или кто-нибудь из прибежавших из Сухого Лога сказал ему. Он, наверное, плачет. Или нет — он, наверное, не плачет, он держится, как держался сегодня утром на крыльце, сжав кулачки. «Я стану гусаром и

вызову его на дуэль». Варя улыбнулась сквозь слёзы. Нет, Петенька, ты не станешь гусаром. Ты станешь кем-нибудь умным и спокойным — учёным, или доктором, или чиновником, и у тебя будет жена, и дети, и ты будешь рассказывать им про тётю Варю, которая утонула в реке, когда ты был маленьким. И они будут бояться ходить к реке.

Думала о себе — и о том, что ей восемнадцать лет и она ничего не видела в жизни. Ни Петербурга, ни моря, ни гор, ни Италии, о которой столько читала. Она ни разу не танцевала мазурку с кем-нибудь, кто ей нравился. Ни разу никто не писал ей стихов. Ни разу никто не смотрел на неё так, как смотрят герои в романах на героинь — будто во всём мире больше никого нет. Она никогда никого не любила.

И уже не полюбит.

Эта мысль была самой горькой. Горше страха, горше стыда, горше жалости к матери. Она остановилась среди леса и громко, вслух, сказала — голос её прозвучал хрипло и странно в тишине:

— Господи, ну почему? Ну почему так?

Лес не ответил. Только дятел застучал где-то в вершине сосны — сухо, деловито, будто отсчитывал время.

К вечеру она вышла к Белой Горке.

Это было высокое место над рекой, где берег поднимался известняковым обрывом — белым, потому и Горка. Внизу, под обрывом, Лебедь делала крутую излучину и разливалась широким тёмным омутом, о котором в окрестных деревнях рассказывали страшное: что дна у него нет, что там живёт водяной и что каждый год омут берёт себе одного человека. Через омут, чуть выше по течению, был перекинут мост — старый, деревянный, на высоких дубовых сваях, почерневших от времени. С моста вниз было сажени три, не меньше. Варя помнила, как в детстве, проезжая по нему в карете, всегда зажмуривалась от страха.

Дорога спускалась к мосту с горки, петляя между берёз. На той стороне, за мостом, начинались чужие земли — она не помнила чьи. Кажется, Вельских. Кажется, там жила какая-то вдова с детьми, которые выросли и разъехались. Она никогда у них не бывала.

Солнце уже садилось. Небо на западе было малиновым и золотым, а вода в омуте — почти чёрной, с длинными алыми полосами отражений. Над рекой поднимался туман, и в тумане кричала какая-то птица — тонко, жалобно, как ребёнок.

На дороге никого не было.

Варя вышла на мост. Доски были тёплые от дневного солнца, шершавые, с щелями, сквозь которые виднелась вода. Перила — простые жерди на столбиках — доходили ей до пояса. Она дошла до середины, туда, где мост был выше всего над омутом, и остановилась.

Внизу медленно, почти незаметно кружилась тёмная вода. Туман стелился над ней белыми прядями. Пахло сыростью и речной травой.

Варя взялась руками за перила и посмотрела вниз.

Она думала, что ей будет страшно. Ей и было страшно — так страшно, что подгибались колени и стучали зубы. Но под страхом была та же пустая лёгкость, что и утром в карете. И ещё — ужасная, нечеловеческая усталость. Она устала. Устала бояться, устала от бедности, от стыда, от отцовского пьянства и материнского молчания, от Тугарина, от его мокрых пальцев, от его белого глаза, от его «оса» и «товар». Ей хотелось только одного — чтобы всё это кончилось. Чтобы стало тихо.

Она сняла с головы Глашину шаль и аккуратно повесила её на перила. Пусть найдут. Пусть знают. Потом подумала — и сняла с шеи медальон. Подержала в руке, тёплый, с гербом и надписью «Вареньке от папеньки». Хотела повесить рядом с шалью. И не смогла. Медальон был единственное, что у неё осталось от того весёлого человека, который читал ей «Руслана». Она надела его обратно и спрятала под платье.

Потом перекрестилась. Губы её шевелились, но она сама не знала, что шепчет: молитву, или прощание, или просто имена — маменька, папенька, Петенька, Глаша, няня…

Она подобрала подол и перелезла через перила.

Теперь она стояла на краю моста, на узком выступе бревна, держась за жердь за спиной. Внизу был омут. Над омутом — туман. Над туманом — малиновое небо и первая звезда, крошечная, дрожащая, над самым лесом.

«Господи, прости меня, — подумала Варя. — Ты видишь, я не могу. Прости».

И в эту минуту, где-то далеко, на горке, за берёзами, она услышала стук копыт.

Один всадник. Быстро — галопом. Ближе. Ближе.

Если бы она обернулась, она увидела бы, как из-за берёз на дорогу вылетает высокий гнедой конь и человек на нём — без шляпы, в расстёгнутом сюртуке, — и как человек этот, увидев на краю моста светлую фигурку в голубом, привстаёт на стременах и что-то кричит.

Но она не обернулась. Ей было всё равно. Стук копыт был из другого мира — из того, с которым она уже простилась.

Она разжала пальцы.

Падение было коротким и бесконечным. Воздух свистнул в ушах. Туман расступился. Чёрная вода с алыми полосами бросилась ей навстречу — и ударила, как стена.

Холод. Ледяной, обжигающий холод — откуда в июне такой холод? — сжал её со всех сторон, выбил из груди дыхание. Вода хлынула в рот, в нос, в уши. Мокрое платье облепило ноги, потащило вниз, вниз, в темноту, где не было ни неба, ни звезды, ни малиновых полос, — только чёрное, тяжёлое, холодное.

И тут — она сама не поняла как — тело её, вопреки всему, что она решила, вопреки всей её усталости и пустоте, начало бороться. Руки забились, рванулись вверх. Ноги задёргались в путах подола. Горло сжалось, не пуская воду. Что-то древнее, сильнее её, сильнее Тугарина и векселей, сильнее всех её восемнадцати лет, кричало в ней: «Жить! Жить! Жить!»

Она вынырнула на мгновение — увидела небо, мост, чёрный силуэт на мосту, — глотнула воздуха пополам с водой — и снова ушла вниз. Подол тянул, как камень. Руки слабели.

Последнее, что она почувствовала, прежде чем темнота сомкнулась над ней окончательно, — это сильный удар воды рядом, будто в омут упало что-то большое, и чья-то рука, схватившая её за волосы.

Потом не было ничего.

Глава 5. Всадник

Андрей Николаевич Вельский возвращался из Старосельска в таком дурном расположении духа, в каком не бывал, пожалуй, с той осенней ночи под Ахульго, когда пуля чеченского стрелка раздробила ему левое плечо и он два часа пролежал на камнях, глядя в чужое звёздное небо и думая, что умирает.

Тогда он не умер. Полковой лекарь, пьяный и гениальный немец, вынул пулю и собрал кости, и через полгода Андрей уже снова сидел в седле, хотя левая рука так и не стала прежней и к перемене погоды ныла, как старая собака. Но служить он больше не мог — по крайней мере, так решила медицинская комиссия, — и в марте тридцать девятого года ротмистр Вельский вышел в отставку и вернулся домой. Вернулся как раз вовремя, чтобы похоронить отца.

Отец, Николай Андреевич, был человеком добрым, мечтательным и совершенно непрактичным. Всю жизнь он писал историю своего уезда, собирал старинные грамоты, разводил редкие яблони и переписывался с московскими профессорами. Хозяйством занимался управляющий. Управляющий воровал. Когда же управляющего наконец выгнали, выяснилось, что Вельское заложено, перезаложено и что долг составляет сорок тысяч ассигнациями — сумма, которую имение не могло бы принести и за двадцать лет. Закладную держал Опекунский совет. А весной, за месяц до смерти отца, Опекунский совет переуступил её частному лицу.

Частным лицом был Кирилл Матвеевич Тугарин.

Всё это Андрей узнал в первые же недели после похорон, разбирая отцовские бумаги, и с тех пор жил в постоянном, глухом, раздражённом беспокойстве. Он ничего не понимал в хозяйстве. Он умел командовать эскадроном, рубить шашкой, держаться в седле под огнём, ночевать в снегу и пить спирт из фляги, — но не умел считать оброк, торговаться с купцами и разбираться в закладных. Он учился. Учился упрямо и зло, ночами просиживая над конторскими книгами, а днём объезжая поля. Он выгнал второго управляющего, тоже вора, и стал управлять сам. Он продал своих верховых лошадей, кроме одного Буяна. Он почти перестал бывать у соседей. Он сделал всё, что мог, — и этого было мало.

Сегодня он ездил в Старосельск, к нотариусу, в надежде отсрочить платёж по процентам. Нотариус, тощий и угодливый человечек, принял его с поклонами — и вдруг, разведя руками, сообщил, что отсрочка невозможна: Кирилл Матвеевич Тугарин изволили на днях прислать распоряжение не предоставлять господину Вельскому никаких льгот. Более того: Кирилл Матвеевич изволили намекнуть, что охотно купили бы Вельское целиком, с землёй и с людьми, за сумму долга, и что господину Вельскому было бы разумно на это согласиться, пока не дошло до торгов, на которых он выручит ещё меньше.

— Передайте Кириллу Матвеевичу, — сказал Андрей, вставая и чувствуя, как у него темнеет в глазах от бешенства, — что Вельские жили на этой земле двести лет. И что я скорее сожгу дом, чем продам его кабатчику.

Нотариус побледнел и забормотал что-то, но Андрей уже вышел, хлопнув дверью так, что посыпалась штукатурка.

Он сел на Буяна и погнал его из города в карьер — так, что мещане на улицах шарахались к заборам, а куры с кудахтаньем разлетались из-под копыт. Ему хотелось скакать, скакать без остановки, пока ветер не выдует из головы всё — нотариуса, Тугарина, закладную, сорок тысяч, пустую отцовскую библиотеку, бледное лицо матери, которой он ещё не решался сказать всей правды. Буян, высокий гнедой донец, привезённый с Кавказа, будто понимал хозяина: он летел по дороге, распластавшись, как борзая, и только комья земли летели из-под копыт.

До Вельского было двадцать вёрст. Андрей проскакал их меньше чем за два часа и, когда солнце уже садилось за лес, вылетел на Белую Горку, к Лебяжьему мосту. Здесь дорога сво-

рачивала вниз, к реке, между берёзами. Он придержал коня — спуск был крутой, — и вдруг увидел внизу, на мосту, человека.

Сначала ему показалось, что это призрак. Над рекой уже поднимался туман, и в малиновом закатном свете тонкая светлая фигура на середине моста казалась сотканной из этого тумана. Потом он понял, что это женщина — девушка, в светлом платье, с распущенными тёмными волосами. И что она стоит не на мосту, а за перилами, на самом краю, над омутом.

Он не думал. Он никогда потом не мог вспомнить, что думал в эту минуту. Тело сделало всё само, как делало в бою.

— Стой! — закричал он, привстав на стременах. — Стой! Не смей!

И дал Буяну шпоры.

Конь рванулся вниз по крутой дороге, едва не падая на задние ноги. Берёзы мелькнули по сторонам. Копыта загремели по доскам моста. И в этот самый миг — Андрей видел это ясно, до мелочей, как во сне, — девушка разжала руки и молча, без крика, упала вниз, в туман.

Он осадил Буяна у перил так, что конь встал на дыбы. Соскочил на ходу. Сорвал с себя сюртук, на бегу стянул сапоги — один, другой, — и, не глядя, не примериваясь, перемахнул через перила.

Вода ударила его, как удар кулаком в грудь. Омут был ледяной — родники на дне, вспомнил он, мальчишки говорили, — и такой тёмный, что под водой ничего не было видно. Он вынырнул, глотнул воздуха и закрутил головой. Туман. Чёрная вода. Круги на воде — вон там, чуть ниже по течению.

Там что-то мелькнуло — бледная рука, тёмная прядь волос — и пропало.

Он поплыл туда изо всех сил, загребая здоровой правой рукой и больной левой, которая сразу заныла от холода. Нырнул — и не нашёл ничего. Вынырнул. Снова нырнул, глубже, шаря руками в чёрной воде. Пальцы его скользнули по чему-то мягкому, шелковистому — волосы! — и он вцепился в них, рванул к себе, нащупал плечо, обхватил тело и, отталкиваясь ногами от темноты, пошёл вверх.

Они вынырнули вместе. Андрей хрипел и кашлял. Девушка у него в руках не двигалась — голова её запрокинулась, глаза были закрыты, лицо в сумерках казалось белым, как бумага.

«Не дышит, — подумал он. — Опоздал».

Но он не позволил себе остановиться на этой мысли. Перевернувшись на спину, он положил её голову себе на грудь и поплыл к берегу — к низкому, песчаному, где под мостом была отмель. Течение тянуло их вниз, мокрое платье девушки было тяжёлым, как свинец, левая рука отказывала, — но он плыл, считая гребки, как когда-то, мальчиком, считал их на этой же самой реке, споря с деревенскими ребятами, кто дальше заплывёт.

Ноги коснулись дна. Он встал, шатаясь, поднял девушку на руки и вынес на песок.

Она была лёгкая — легче, чем он думал. Он положил её на песок и склонился над ней. Губы у неё были синие, лицо исцарапано, мокрые волосы облепили щёки. На шее, на тонкой цепочке, что-то блеснуло — медальон, наверное. Андрей не думал о медальоне. Он вспоминал, что делал полковой лекарь, когда вытащили из Терека утопленника-казака.

Он перевернул её на живот, на своё колено, головой вниз, и с силой надавил на спину. Раз. Другой. Третий. Изо рта у неё хлынула вода. Он снова надавил — и снова вода. Потом перевернул на спину, приподнял, прижал ухо к груди.

Тишина. Потом — слабо, едва-едва, — удар сердца. И ещё один.

— Ну! — сказал он вслух, сквозь стиснутые зубы. — Ну же! Дыши! Дыши, слышишь!

Он снова перевернул её и снова надавил на спину, и вдруг тело её дёрнулось, судорожно, всё целиком, — и она закашлялась. Страшно, мучительно, с хрипом, выталкивая из себя воду. Кашляла долго, а он держал её, поддерживая голову, и бормотал что-то бессмысленное, ласковое, как бормочут испуганной лошади:

— Ну вот… Ну вот и хорошо… Вот так… Тише, тише… Всё, всё уже… Всё кончилось…

Наконец кашель стих. Она лежала у него на руках и дышала — часто, неглубоко, с присвистом. Потом медленно открыла глаза.

Глаза были серые. Светлые, неожиданно светлые при тёмных бровях — серые, как вода в реке в ненастье. Они смотрели на него, не понимая, мутно и бессмысленно, как смотрят новорождённые. Потом в них появилось что-то — испуг? удивление? отчаяние? — и они наполнились слезами.

— Кто вы? — спросил Андрей. — Как вас зовут? Откуда вы?

Она не ответила. Только смотрела на него, и слёзы текли по её исцарапанным щекам, смешиваясь с речной водой.

Потом глаза её закрылись, и голова бессильно упала ему на плечо.

Он испугался, что она снова перестала дышать, — но нет, дышала. Просто потеряла сознание. Она вся дрожала — мелкой, частой, неудержимой дрожью, — и руки у неё были холодные, как лёд.

Андрей огляделся. Сумерки сгущались. Над рекой висел туман. На мосту, у перил, стоял Буян — умница, не убежал, — и тревожно ржал, перебирая ногами. На песке, у самой воды, лежали Андреевы сапоги — он сбросил их с моста, они упали вниз. А сюртук остался там, наверху.

До Вельского было пять вёрст. До ближайшей деревни, Лебяжьего, — три, но назад, через мост, на другом берегу. Он мог бы отвезти её туда, в избу к старосте. Но что дальше? В Лебяжьем не было ни лекаря, ни даже знахарки. А девушка была в таком состоянии, что ей нужен был тёплый дом, сухая постель, горячее питьё и доктор — немедленно.

Он решил за мгновение. Как в бою.

Подхватив девушку на руки, он поднялся по откосу на мост, к Буяну. Положил её на перила, придерживая, натянул кое-как мокрые сапоги, накинул на неё свой сюртук — сухой, тёплый, пахнущий табаком и конским потом — и закутал её в него, как ребёнка. Потом с трудом, морщась от боли в плече, вскочил в седло и принял её к себе на руки. Голова её легла ему на грудь, мокрые волосы рассыпались по его рубашке.

На перилах моста, в двух шагах, висела серая шерстяная шаль. Андрей не заметил её в сумерках. Если бы заметил — может быть, вся эта история пошла бы по-другому. Но он не заметил.

— Шагом, Буян, — тихо сказал он. — Шагом, брат. Не растряси.

Конь осторожно тронулся с места.

Они ехали через лес, в сгущающихся сумерках, по знакомой дороге. Девушка не приходила в себя. Иногда она начинала дрожать сильнее, и тогда Андрей крепче прижимал её к себе, стараясь согреть. Иногда что-то шептала — неразборчиво, без слов. Один раз, когда Буян споткнулся о корень, она вскрикнула и вцепилась пальцами в его рубашку, — и не отпускала до самого дома.

Андрей смотрел на её лицо в последнем сумеречном свете. Она была очень молода — лет восемнадцать, не больше. Лицо тонкое, бледное, с тёмными, будто нарисованными бровями. На скуле — свежая царапина, на виске — синяк. Руки маленькие, с узкими пальцами, без колец, но мягкие и белые — не крестьянские руки. Платье — дорогое когда-то, голубого шёлка, но разорванное в клочья, перепачканное глиной и тиной. Ни туфель, ни чулок — то есть, один чулок, шёлковый, весь в дырах. Ноги изранены, в крови.

Кто она? Откуда? Барышня? Горничная, сбежавшая от барыни? Гувернантка, обманутая каким-нибудь соблазнителем? Почему она хотела умереть?

Он не знал. Но, глядя на её лицо, он чувствовал странное — то, чего не чувствовал никогда, ни в Петербурге, где был несколько раз влюблён в хорошеньких актрис, ни на Кавказе, где влюбляться было некогда, — ощущение, что держит в руках что-то бесконечно хрупкое и бесконечно драгоценное. И что не отдаст его никому.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.